

Алексей Толстой

Чудаки



ФТМ

Алексей Толстой родился 10 июля 1883 года в Москве. Его отец был известным юристом. Толстой учился в Московском университете. В 1905 году он окончил юридический факультет. Толстой был участником революции 1917 года. Он был арестован и находился в тюрьме. Толстой был одним из крупнейших русских писателей XX века. Он написал много книг, в том числе романы, повести, рассказы и драмы. Толстой был также известным публицистом и общественным деятелем. Он был членом партии большевиков. Толстой умер 20 октября 1945 года в Москве.



Алексей Николаевич Толстой
Чудаки

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5317743

Аннотация

Один из самых ранних романов известного русского писателя Алексея Николаевича Толстого.

Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ	4
ГЛАВА ВТОРАЯ	9
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	14
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	19
ГЛАВА ПЯТАЯ	24
Конец ознакомительного фрагмента.	26

А. Н. Толстой

ЧУДАКИ

*И тщетно там пришлец унылый
Искал бы гетманской могилы:
Забыв Мазепу с давних пор.
(«Полтава». Пушкин)*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мягко зашумевшие листья осин, возня воробьев под окном и свежий ветер, залетевший в комнату, разбудили Степаниду Ивановну. Она повернулась на бок и сейчас вспомнила не только вчерашнюю ссору, но и последние слова мужа, Алексея Алексеевича: «Старуха, старая старуха».

Гневно сдвинула Степанида Ивановна подведенные с вечера узкие брови и в досаде сбила все простыни из тончайшего холста.

Шелк Степанида Ивановна не употребляла на простыни и рубашки, полагая, что электричество, находящееся в телах спящих супругов, разъединяется от шелковой ткани, и слабеет любовное влечение, о котором, несмотря на свои шестьдесят лет, заботилась Степанида Ивановна, пожалуй, даже сильнее, чем в дни молодости.

Глядя в окно на мокрую зелень ветвей, думала она о жестоких мужниных словах, сказанных с хлопаньем дверьми, когда, противно всем долголетним привычкам, ушел Алексей Алексеевич спать один в кабинет.

– Не смей меня ревновать! – крикнул тогда он, топорща усы и багровея. – Гадко и гнусно. Э, да что с тобой говорить! – Отшвырнул ногою стул и распахнул дверь. – Пойми, что ты старуха, старая старуха...

«О жене вспомнил, о покойнице, – думала Степанида Ивановна. – И Софью любит потому, что с ней сходство».

Она быстро повернулась на другой бок, откинула на ногах одеяло. Свежесть утра ознобила тело.

– Нет, Алексей, – воскликнула она, – одна я для тебя, не смеешь ни о ком думать... Ах, Боже мой!

Склонясь к подушке, Степанида Ивановна замерла в отчаянии. Но сухи были ее глаза и сердце ожесточенно.

Тридцать четыре года прожила Степанида Ивановна с мужем своим, теперь генералом в отставке, раньше красавцем военным, любимцем начальников, сотоварищей и женщин, проигравшим в карты три имения, знаменитым своими любовными и нелюбовными похождениями и в особенности женитьбой на Степаниде Ивановне.

Тогда она – девица на выданье – жила в уездном городе с отцом, помещиком, которого съел банк. Городишко был небольшой, пустынный, пыльный: дрянные деревянные домишки, выгоравшие время от времени целыми кварталами, собаки, сопливые мальчишки, чахлые палисадники, мухи – вот и весь город.

Мух же особенно было много. Отец Степаниды Ивановны – Иван Африканович – охотился на них, надевая даже очки, чтобы лучше прицеливаться. Салфеткой ударял по стене, убивал их сотнями и отдавал цыплятам.

Степанида Ивановна, девица на выданье, целыми днями сидела у окна и поглядывала на пыльную улицу. От мокрого удара салфеткой вздрагивала она каждый раз и, сжав маленькие губы, рассматривала, как напротив у забора стоит ободранный пес, жмурясь от солнца, или по жаре бредет акцизный чиновник, ковыряя на щеке прыщ.

– Замуж хочу! – говорила Степанида Ивановна сначала тихо, потом все громче и злее и, когда Иван Африканович входил в комнату, держа в одной руке салфетку, в другой банку с набитыми мухами, кричала ему в улыбающееся лицо: – Выдай меня замуж, старый мухобой, выдай меня замуж! Хуже будет!

Худенькое ее тело выпрямлялось, глаза становились сухи и огромны. От тяжести черных волос, подрезанных на лбу челкой, болел затылок.

Однажды, услышав звон бубенцов, Степанида Ивановна выглянула в окно и увидела тройку серых лошадей, мчавшую блестящую коляску; в ней сидел молодой офицер в гвардейской фуражке набекрень.

Офицер обернул к изумленной девушке краснощекое усатое лицо, послал воздушный поцелуй, и тройка свернула за угол, где стоял дом уездного предводителя.

Степанида Ивановна побледнела, схватилась за грудь и едва не лишилась чувств – так пронзило ее предчувствие.

На следующий день предводитель устроил бал в честь приезжего офицера – племянника своего, молодого вдовца Алексея Алексеевича Брагина. Степанида Ивановна надела единственное свое нарядное платье из голубой кисеи и весь вечер следила из-за веера за Алексеем Алексеевичем, лихо отбивавшим мазурку в красных с золотыми шнурами чикчирах.

Алексей Алексеевич тоже, видимо, заметил красоту Степаниды Ивановны – и оглядывался на девушку неоднократно. Под конец бала сел рядом с ней на диванчик, вынул тонкий платок, отер прекрасный лоб свой.

Степанида Ивановна опустила было глаза, но офицер взглянул на нее так открыто, простодушно и весело, что не могло быть сомнений – его нужно полюбить как можно скорее, не теряя времени, не думая.

За стеной маленькой гостиной, где они сидели, слышались музыка, шелест и шорох платьев... И Степанида Ивановна никогда не могла вспомнить, что ей говорил тогда красавец офицер, что она отвечала... Выпуклые серые глаза его глядели и дерзко и нежно.

От мужского здорового запаха раздулись у нее ноздри, медленно клонясь, подставила она Алексею Алексеевичу пунцовые губы, – лишь ахнула негромко.

Хотя в двери гостиной не заглядывал ни один нос, все же минут через пять все узнали с большими подробностями, что Степанида Ивановна «целовалась».

Предводительша, желая рассеять сомнительное впечатление, велела играть русскую и сама пошла плясать с платочком, причем полная ее грудь так подпрыгивала, что пришлось ее поддерживать сверху рукой. Предводитель, щелкнув тузом козырного короля у помещика Тараканова, крикнул и сказал: «Эге, племянник не дает маху!» Иван же Африканович, папенька, стоя в закуской около спиртного, только сморкался трубой и жалобно посматривал на двух клюкавших с ним помещиков, не решаясь идти объясняться с обидчиком.

На все это Алексей Алексеевич объявил, что готов или стреляться, или жениться, как того пожелает Степаниды Ивановны отец, но не раскаивается и при удобном случае готов опять целоваться.

Иван Африканович, папенька, услышав, что приезжий офицер готов целоваться, зарыдал и, водя носом, более похожим на огурец, чем на что-либо другое, по синему мундиру красавца Брагина, лепетал: «Ведь я же люблю мое дитя, сироту несчастную, сделай милость, женись на ней, благодетель».

Только долго спустя догадались, что Иван Африканович свыше всякой меры «набодался» наливками, и увели его в садовую беседку спать.

Степанида Ивановна, отклонив от себя заботы хозяйки и дам, сидела в гостиной, прямая и белая, как свеча, и, как свеча, горели ее глаза, так что страшно было взглянуть. Узнав, что Брагин не отказывается от предложения, она поднялась и вышла из дому, высоко подняв голову, сжав губы. Свадьбу сыграли через неделю. Напился весь город.

Так сменила Степанида Ивановна тоскливую девичью жизнь на новую, полную страсти, роскоши и горя.

Ревновала Степанида Ивановна мужа ко всем, но больше всего к памяти первой жены его, и если бы Алексей Алексеевич говорил о той первой, сравнивал бы их обеих, поддразнивал бы свою теперешнюю супругу, все же легче было бы Степаниде Ивановне.

Но Алексей Алексеевич никогда не вспоминал имя первой жены, и даже во время ссор, когда, побледнев, с трясущимися губами, выкрикивала Степанида Ивановна: «Ты ее любишь, ты о ней думаешь... поди ищи ее...» – только пожимал плечами, гладил задумчиво каштановые усы.

Со временем ревность к той не только не сгладилась, но «перешла в характер» Степаниды Ивановны. По ночам ей вдруг начинало казаться, что та, Вера, только что была между ней и Алексеем: невидимая и неслышная, ложилась она в постель к Степаниде Ивановне и делала свое страшное дело с мужем... Степанида Ивановна поспешно будила Алексея Алексеевича и, когда он, большой и сонный, мычал, закрывая голову одеялом, лънула к нему, вся обожженная ревностью, страстью, злостью.

Временами наступало затишье. Алексей Алексеевич, довольный миром, сидел дома в вышитых бисером туфлях и курил трубки. Но ненадолго успокаивалась горячая голова Степаниды Ивановны. Думая ли о мужниной военной карьере или о быстро уменьшающихся средствах, – Алексей Алексеевич крупно играл в карты, – шла она неуклонно в своих мыслях всегда к одному и тому же пункту: в такие-то часы муж был неизвестно где, – значит... Она опускала вязанье, начинала допрашивать, ставила колкие вопросы, и, смущенный, сбитый с толку, Алексей Алексеевич признавался, что действительно поухаживал слегка за какой-то там Варенькой.

Степанида Ивановна швыряла вязанье, заламывала руки и лишалась чувств.

Не раз Степанида Ивановна выручала мужа из беды. Алексей Алексеевич уезжал иногда в провинцию и ежедневно с пути отправлял письма, полные уверений в любви и верности.

Однажды он уехал и замолчал. Прошло три дня. Степанида Ивановна не велела никого принимать, разогнала прислугу и день и ночь ходила по комнате, как дикая кошка. Ей представлялось бог знает что, – непереносимые ужасы.

На четвертые сутки пришла телеграмма; «Проиграл сорок тысяч, стреляюсь. Алексей».

Степанида Ивановна спокойно приказала себя одеть, взяла драгоценности, все серебро и поехала в ломбард.

Там ей выдали двадцать пять тысяч. В Дворянском банке, где был знаком директор, выдали под перезалог тульского имения еще пять тысяч, не хватало десяти. У кого достать? Степанида Ивановна боялась огласки. В этот день была минута, когда ей изменили силы.

К вечеру она решила. Накинула шубку, подошла к зеркалу и пронзительно взглянула на себя: «Хороша, хороша».

Карета, ждавшая у подъезда, помчала ее по мокрым улицам на Гагаринскую, где жил молодой, делавший блестящую карьеру дипломат – Ртищев. Он явно всегда ухаживал за красавицей Брагиной.

Без доклада войдя в кабинет Ртищева, Степанида Ивановна затворила дверь на ключ и молча сбросила с обнаженных плеч соболью шубку.

Что произошло в кабинете у Ртищева – Степанида Ивановна никому не рассказывала. С десятью добавочными тысячами помчалась она в той же карете на вокзал, откуда на следующее утро поезд привез ее в провинциальный городишко.

Она тотчас же отыскала гостиницу, где стоял Алексей Алексеевич. Половые немало были изумлены, увидав даму в бальном платье с кожаной сумкой в руке, бегущую, как сумасшедшая, по коридору.

Половой загородил было ей дверь, но Степанида Ивановна ударила его сумочкой и вошла в номер. На ковре, на диванах, положив ноги на кресла, дремали офицеры, валялись бутылки и карты, было сизо от табачного дыма. Пробежав меж спящими, Степанида Ивановна увидела на постели мужа, он крепко спал, зажав в руке цыганский платок с нашитыми монетами. Степанида Ивановна платочек вырвала и растоптала ногами, затем сумочкой, полной денег, принялась колотить Алексея Алексеевича по щекам. Но все же была слишком рада (или чувствовала и себя отчасти не безгрешной), чтобы долго сердиться.

Когда наступила турецкая война, Алексей Алексеевич перевелся в действующую армию, и Степанида Ивановна уехала с мужем.

В походе жила она в палатке, чинила мужнино белье, ругала денщика, который так боялся барыни, что только неестественно мычал, когда она его о чем-нибудь спрашивала, давала мужу военные советы, один раз даже собственноручно выстрелила в турка, оказавшегося бабой-маркитанткой.

В палатке в час, когда горнист играл утреннюю зорю, она родила девочку, но ребенок не прожил и трех дней. На десятые сутки после родов Степанида Ивановна переезжала верхом Дунай...

Война окончилась счастливо для Алексея Алексеевича, он быстро пошел по службе, Степанида Ивановна была принята при дворе. Но волосы ее уже стали седеть, тело подсыхать, и, несмотря на удовлетворенное честолюбие, мучилась она пуще прежнего, глядя на дородную, веселую фигуру мужа, всегда окруженного хорошенькими женщинами.

Алексей Алексеевич получил генерала, но хватил его легкий ударчик, пришлось выйти в отставку, и он переехал с женой в деревню – родовую вотчину Гнилопаты на луговой стороне Днепра.

Там, успокоившись от суеты, возобновил он переписку с некоторыми друзьями, в том числе с братом первой своей жены – Ильей Леонтьевичем Репьевым, отвечавшим пространными умозрительными рассуждениями о жизни и христианской любви на меланхолические письма друга.

Начитавшись этих писем, Алексей Алексеевич решил сделать Репьеву удовольствие и попросил отпустить на лето погостить в Гнилопаты дочку его Сонечку, которой сам Алексей Алексеевич доводился крестным отцом.

Степанида Ивановна отлично помнила, чья была Сонечка племянница, но без особенных споров согласилась на ее приезд оттого, что все помыслы ее заняты были новым, необыкновенным делом, о которой она никому пока еще не сообщала.

Про дело это прослышала Степанида Ивановна перед отъездом в деревню от старичка шведа (приходившегося Алексею Алексеевичу дальним родственником по бабушке шведке, урожденной Вальдштрем) и теперь на свободе обдумывала план, долженствующий имя Алексея Алексеевича внести в страницы истории.

Но для выполнения этого необычайного плана надобно было много денег, состояние Брагиных сильно поиздержалось, Гнилопаты приносили тысяч пять дохода, чего вместе с пенсией только в обрез хватало на жизнь. Степанида Ивановна решила искать клад.

По берегам Днепра, в размываемых половодьем кручах, на островках, открывались время от времени богатые клады, – зарывали их с незапамятных времен и варяги, и запорожцы, и гайдамаки, и польские паны, и булавинцы, – все, кто прошли по днепровским берегам. Рассказы об этих кладах слышала Степанида Ивановна от монашенок соседнего с Гнилопятами монастыря. Монашенки толком ничего не знали, но однажды одна из них сообщила, что недавно у игуменьи появился план сокровищ украинского гетмана Мазепы, собранных им для воцарения на малороссийском престоле и покинутых во время бегства со шведским королем.

Монашенка во всем этом клялась и божилась. Степанида Ивановна собралась к игуменье, но приезд Сонечки отвлек на время ее внимание на мужа и эту девушку, так похожую на портрет покойной Веры.

Вчера произошла ссора с мужем, не первая, но особенно язвительная для генеральши, и Степанида Ивановна, припомнив поутру все мучения долгой своей жизни, едва не ослабела духом.

ГЛАВА ВТОРАЯ

– Боже мой, сколько тягот! Ах, Алексей, и все, все это – для тебя. Неблагодарный, жестокий!

Степанида Ивановна села в кровати, натянула на колени одеяло, поправила чепец и позвонила.

Вошла горничная Люба с чашкой шоколада и серебряным подносом с печеньями. У окна закричал в клетке попугай:

– Любочка!

Люба, улыбаясь, поставила поднос на столик, подошла к клетке и просунула между прутьями палец, – попугай тотчас же стал тереться о него зеленой головкой.

– Оставь попугая, – сказала генеральша, сердито глядя на молоденькую горничную. – Генерал встал?..

– Их превосходительство сюда идут, – улыбаясь, ответили краснощекая Люба. – Барышня давно в столовой.

– Подай зеркало и пуховку. Скорее же!

Люба, подняв овальное в бронзовой раме зеркало, подошла и, опершись коленом о кровать, откинулась так, чтобы Степанида Ивановна, поднявшая руки к седым буклям, могла видеть маленькое свое, с синевой под черными глазами, смуглое лицо в мелких морщинах.

Степанида Ивановна провела пуховкой по щекам, налила из хрустального флакона на плечи и руки сладких духов и карандашом отчеркнула тонкие брови...

– Теперь хорошо, ваше превосходительство, – сказала Люба. – Только бровка левая чернее вышла...

Степанида Ивановна посмотрела на круглое с поднятым носом веселое лицо горничной, перевела взор на себя, повернулась в профиль и подрисовала бровь.

В дверь постучали. Люба поспешно прислонила зеркало к кровати и побежала отворять. Вошел генерал.

Высокую его дородную фигуру свободно охватывал китель без погон, на ногах были панталоны с лампасами и бархатные туфли. Львиное, слегка насуспенное лицо розовело от здоровья, полные губы добродушно улыбались. Белые, с подусниками, усы – расчесаны.

– Проснулись, ваше превосходительство, – сказал Алексей Алексеевич и заложил руки в карманы. – А ведь я недурно выспался в кабинете. А! – и, взглянув на горничную, захохотал, довольный, что победа на его стороне...

Люба выскользнула из комнаты. Алексей Алексеевич прошелся по ковру.

– С вечера у меня, ваше превосходительство, в бок немного кольнуло, а я и думаю: пусть лучше покалывает, чем упреки твои, душа моя, слушать...

Генерал прищурил один глаз, желая, очевидно, примирения, и болтал всякий вздор. Степанида Ивановна поджимала губы, ноздри у нее вздрагивали.

– Я ответственна за Софью, – вдруг ни с того ни с сего сказала она сухим голосом. – Я не допущу, чтобы ты ее целовал и сажал на колени.

Генерал сразу остановился, вынул из карманов руки.

– Она не кровная родня, чтобы относиться к тебе, как к деду, – продолжала генеральша. – Ваше с ней поведение считаю неприличным, если не...

– Молчать! – сказал генерал.

– Вчера меня старухой назвал, – не сдерживаясь более, закричала генеральша, – находишь эту девчонку слишком молодой. Вижу, вижу – она на тебя не по-родственному посматривает...

– Что? – Алексей Алексеевич начал багроветь...

Но бес генеральшин сорвался, и чем больше раздувался генерал, тем безрассуднее, ядовитее придумывала генеральша слова...

– Ох, ох! – повторял Алексей Алексеевич, оглядываясь, чтобы найти метательный предмет. Солнце блеснуло на резьбе серебряного подноса.

– Замолчи! – воскликнул генерал, хватая поднос, поднял его над головой.

– Я ее выгоню! – взвизгнула генеральша...

– Генерал, ура! – закричал попугай...

Алексей Алексеевич, целясь так, чтобы не попасть, бросил в генеральшу подносом. Печенья рассыпались по простыне. Степанида Ивановна сейчас же затихла. Генерал вышел, ударив дверь.

Когда испуг миновал, Степанида Ивановна усмехнулась, сбросила с колен печенья и, босая подойдя к двери, повернула ключ.

Генеральша была очень довольна тем, что Алексей Алексеевич едва не убил ее подносом. Вчера, увидя нежную привязанность мужа к Сонечке, решила она выдать во что бы то ни стало девушку поскорее замуж и в уме подыскала даже жениха – молодого дипломата Смолькова.

Алексей Алексеевич терпеть его не мог, может быть потому, что Смольков приходился племянником Ртищеву, с которым у генерала были старые и особые счеты, – он наотрез отказался его видеть. Степаниде же Ивановне особенно тогда захотелось выдать Сонечку за Смолькова. Теперь представлялся удобный случай: генерал будет каяться в поступке с подносом, размякнет и напишет Смолькову.

Затворив дверь, генеральша выпила шоколад, накинула пеньюар, легла на диванчик и принялась громко вздыхать и стонать: «Боже мой, боже мой!..»

Она знала, что Алексей Алексеевич будет на цыпочках подходить к двери и прислушиваться, но решила из комнаты не выходить, пока генерал не даст нужного обещания.

Алексей Алексеевич, как только выбежал от жены, отер платком пот со лба и, выпустив из надутых щек воздух, пошел по коридору в столовую, дверь в которую была из разноцветных стекол.

– Фу, как гадко! – сказал Алексей Алексеевич. – Ведь довела же человека! Фу! – Чтобы войти в столовую веселым, он помедлил около двери.

Смотря сквозь красное стекло, увидел он столовую, обитую дубом, с резными панелями, с саксонскими блюдами на стенах, и за столом – девушку, терпеливо сложившую руки в ожидании прихода деда. Сквозь стекло все это казалось красным.

Алексей Алексеевич передвинулся налево к зеленому стеклу, и комната и девушка стали зелеными. Генерал приотворил дверь и шепотом позвал:

– Сонюшка, поди-ка сюда...

Сонечка тотчас же встала и, улыбаясь, подошла. Вдвоем они стали смотреть сквозь цветные стекла.

– Фу! – опять сказал Алексей Алексеевич. – Задала мне бабушка феферу, я в нее подносом бросил, фу. – Генерал, зажмурясь, покрутил головой...

– Зачем вы не сдерживаете себя? – сказала Сонечка и поцеловала деда в плечо.

– Ну вот поди же ты! А ты что – пила кофе?

– Я вас ждала.

– А думала о чем?

Сонечка опять улыбнулась, и они сели к столу, развернули накрахмаленные салфетки. Лакей Афанасий, курносый, рыжий и нахальный, любимец генеральши, налил кофе. Генерал, мешая ложечкой, задумался.

Глядя на ласковое, вдруг опустившееся его лицо, на поднявшиеся от печального недоумения брови, пожалела Сонечка деда. Стараясь не стучать, налила она сливок в кофе, отломала кусочек сладкого хлеба, положила в рот, но уже поднятая к губам позолоченная внутри чашка задрожала в ее руке, синие глаза заволоклись слезами.

– Поди ко мне, – взволнованно проговорил генерал, привлекая Сонечку. – Не надо плакать, бабушка тебя любит и сама знает, что говорит напрасно, – у нее характер тяжеловатый, но она добрая... А ты поменьше к сердцу принимай...

– Нет, – отвечала Сонечка, качая головой, – я знаю, что мне нужно уехать отсюда.

– Да тебя никто и не отпустит. Знаешь что – идем и помиримся с бабушкой. Хорошо?

Алексей Алексеевич бодро встал, обнял Сонечку за плечи, но, должно быть, не очень верил в это «хорошо», так как замедлял шаг, идя по коридору, и уже совсем тихо постучал в дверь.

Сонечка взглянула на деда, как бы спрашивая: а что, если?.. На стук громко застонали за дверью; Алексей Алексеевич поднял брови, прошептал: «Слышишь!» – и смелее постучал в дверь.

– Кто там? – был слабый голос.

– Это мы, бабушка, – весело крикнул Алексей Алексеевич. – Отопри, пожалуйста, – нехитрым видом мигнул Сонечке.

Но за дверью не отозвались. Потом с шумом упало там что-то, зазвенело стекло...

– Ай! – прошептала Сонечка, как котенок, но Алексей Алексеевич погрозил ей и в третий раз постучал...

Ответа не было.

– Села в бест! – сказал генерал уныло. – Надолго. И он пошел к себе, а Сонечка поднялась наверх в антресоли, села в кресло к окну, вздохнула и открыла томик – «Вешние воды».

«Не виновата, – подумала Сонечка, – и ничего такого не сделала».

Вздохнула еще раз, но уже легче, и наклонилась над книгой, чувствуя сладкую грусть от одного только названия повести.

Сонечке шел девятнадцатый год. Светловолосое личико ее было детское, с нежным ртом, с синими, еще мало осмысленными глазами. Все же она была очень хорошенькая девушка, среднего роста, в холстинковом платье, слегка неловкая и застенчивая, но в неловкости ее было очарование здоровой прелести девятнадцати лет.

Прочтя несколько страниц, Сонечка подняла голову и поглядела в окно на сухую ветку, на которой вот уже полчаса сидела старая ворона, вертела головой.

«Вот глупая», – подумала Сонечка и, начав новую страницу, забыла предыдущее, заглянула назад, – ах, да, – и несколько раз с наслаждением прочла любимое место.

Кончилась глава, в ушах звенело, и Сонечка, глядя перед собой, уже не видела вороны: откинувшись на спинку стула, мечтала она, ставя себя на место героини. Герой всегда был один и тот же.

На нем – доверху застегнутый черный сюртук, прядь черных волос падает на белый лоб, жгучие, честные глаза ищут кого-то. Он выходит из той вон боковой аллеи, держа шляпу в руке. Полы сюртука отдувает ветер. Он ищет – кого? Он думает – о ком?

Себя Сонечка считала недостойной его – слишком глупой. Но все же герой нашел ее жгучими своими глазами. Он подошел; он говорит о возвышенном. Сонечка обмирает. Он берет ее руку. – Идем! – Ведет в беседку...

Дальнейший ход мыслей был таков, что Сонечка вставала, на цыпочках шла к умывальнику, мочила конец полотенца в холодной воде и прикладывала к вискам. Затем бывало раскаяние в грешных мыслях, но все же они повторялись все чаще и чаще, все труднее было с ними совладать.

Сегодня Сонечка отложила книгу, вынула из рабочего столика шелк, канву, наперсток, поставила ноги на скамеечку и, сжав колени, прилежно стала вышивать.

«Как же с бабушкой? – думала она. – Может быть, обойдется, а уж я все сделаю, – постараться бы с дедушкой быть меньше вдвоем».

Сквозь окно слышался стук ножей на кухне. Где-то курица, должно быть, снесла яйцо, тихо стонала – не в силах закричать. Петух разволновался и заорал, захлопал крыльями. Плелась по двору собака, наступая лапами на обрывок веревки. В безветренном, словно полинявшем небе плавал коршун, высматривая цыплят.

Скучно и томительно в июльский зной сидеть у окна, глядя на опустевший двор усадьбы. Весь народ в поле. На усадьбе осталась только стряпуха, которая с утра до ночи печет ржаные хлебы, отправляемые вместе с солью, бараньим салом и пшеном в поле, или, угорев от печи, выскакивает из людской на двор и кричит благим голосом, требуя расчета и скребя волосы на голове. Но на крики ее никто не отвечает, разве приехавший с работ приказчик лениво выругается и плюнет, и она с ревом бросится назад в пекарню.

Да еще двое белоголовых мальчиков – один в штанах, другой без штанов – возятся на куче золы, набивая золой продранный валенок.

Жарко, безветренно и тихо. Глаза у Сонечки слипаются, игла скользит из пальцев. Пойти бы к деду, да нельзя. Исккупаться бы, да вода такая теплая, что по всему телу от нее зуд. Хорошо где-нибудь в густом лесу у ручья, в траве. Вода журчит. Голова у Сонечки клонится.

В полдень не легче и Алексею Алексеевичу. Пять раз подходил он к генеральшиной двери, говоря то шутя, то ласково:

– Полно, Степочка, отвори. Ей-богу, я раскаиваюсь. А?

Заманчиво представляется ему сидеть сейчас в генеральшиной комнате: там прохладно, не то что в обращенном на юг кабинете, где нагрелась кожа дивана от солнца, бьющего сквозь спущенную парусиновую штору, и по мокрому лицу ползают мухи.

В генеральшиной спальне можно развалиться в кресле у окна, закурить сигарку и, попивая что-нибудь прохладительное, посмеяться над давешней историей. А теперь без Степаниды Ивановны даже квасу не добьешься.

– Ей-богу, видишь: вот я и перекрестился, никогда больше не стану подносом бросать, и вообще... – в отчаянии говорил генерал, шестой раз подходя к двери.

– Что тебе надобно? – ответила, наконец, Степанида Ивановна ледяным голосом.

– Мириться, мириться! – Алексей Алексеевич радостно потянул дверную ручку. – Ну, полно же тебе.

– Я спрашиваю: что тебе от меня надо?

Генерал опешил.

– Как что? Я думал...

– А что ты думал, когда убивал меня подносом?

– Степочка!

– Я до сих пор дрожу от страха, – может быть, ты сейчас войдешь и зарежешь меня.

– Степочка! – воскликнул Алексей Алексеевич, тоскуя в темном коридорчике. – Прости меня, я все сделаю.

– Ах, мне ничего от тебя не нужно, я скоро умру.

– Боже мой, что же тебе нужно?

Степанида Ивановна помолчала, потом сказала тихо:

– Напиши письмо Смолькову...

– Кому? – спросил генерал, хотя ясно услышал. – Кому?

– Смолькову, – громко сказала генеральша. – Я хочу, чтобы он сюда приехал.

Алексей Алексеевич нахмурился. Степанида Ивановна громко принялась стонать и сморкаться.

«Все равно, – подумал Алексей Алексеевич. – Смольков не хуже других, черт с ним, руки не отвалятся».

Так состоялось примирение, и было отослано в Петербург княгине Лизе Тугушевой политическое письмо, где говорилось, что супруги Брагины хотели бы видеть у себя Смолькова, а в P.S. сделана пометка: гостит у нас Сонечка Репьева, милая и прелестная девушка. Письмо отправили на почту с нарочным, и Степанида Ивановна, приласкав, наконец, расстроенного супруга, приказала заложить коляску, чтобы ехать в монастырь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Монастырь лежал под горкой в густом вишневом саду. Пирамидальные тополя росли вдоль невысоких стен, сложенных из камней когда-то бывшей здесь в давние времена крепости.

У монастырских ворот стояли заколоченные балаганы для продажи съестного во время праздников. Длинные стены, фруктовый сад, келейки уходили в дубовую рощу, откуда вытекал и по сухим листьям и веткам бежал под стену и в сад студеный ключ.

В саду на полянках, очищенных от вишенника, – под грушей или яблоней, – стояли мазанные из глины, выбеленные кельи. У каждого порога лежало по камню для отдохновения, и на двери был нарисован синею краской осьмиконечный крест. В глубине сада, там, где сходились проторенные в траве тропки, над зеленью деревьев поднимались полинявшие луковицы древнего храма с железными крестами.

Теперешняя игуменья, мать Голендуха, не пожелала, чтобы монашенки жили порознь в далеко одна от другой стоящих кельях. Являлось от этого великое баловство, особенно в апреле месяце, когда сокращали службы, чтобы более оставалось времени для садовых работ. Монашенки тогда ходили, как пьяные, в черных своих рясах, щеки их загорали, и напевы духовных стихов смущали не одного прохожего за белой стеной, а мать Голендуха только вздыхала, говоря: «Какое же это ангельское пение? – один блуд».

Поэтому, с благословения архиерея, собственным иждивением был построен деревянный дом близ церкви... В одной половине его, лицом в сад, находились трапезная и келья игуменьи, а в другой, окнами на скотный двор и курятники, – кельи сестер.

– Пусть их на курей посмотрят, – говорила мать Голендуха. – Куры всегда ногой в навозе зерно найдет, значит имеет настоящую веру. А мои-то: подай им того, сего – пирогов да моченых яблоков, а сами только и норовят о скоромном шептаться.

О пастве мать Голендуха мнения была неважного:

– Тоже вот в прошлое Христово воскресение сестра Клиитинья двадцать пять яиц за раз съела, – двадцать ведь пять... Соборовали. Я ее стыдить: как, говорю, с таким брюхом на тот свет полезешь? Ничего, отдыхалась, – чистая корова, прости, Господи.

Росту мать Голендуха была небольшого, но сложения тучного. Вся насквозь она пропиталась кислым ладаном, что особенно усугубляло веселость, которую испытывал, встречаясь с нею, каждый.

Монашенки боялись игуменьи, как огня. Бывало, в зимние вечера, собираясь у длинного стола трапезной вышивать воздухи, бисерные кошельки, колпачки на ламповые стекла или скатерти, слушали они, шурша работой, как мать Голендуха разговаривала, попивая грушевый квас:

– Что же вы, дуры, думаете, что вас всех и заберут в рай? Да ведь, не к ночи будь помянуто, дьявол должен чем-нибудь пропитать себя...

– Где уж нам! – отвечала самая шустрая из сестер и вздыхала прилично. – Нам-то хоть бы смирение показать.

– Закрой рот, – говорила мать Голендуха и стучала кружкой. – Разговорились! За язык возьмут тебя черти, дура оглашенная, и станут держать во веки веков.

Монашенки, низко склоняясь, молчали. Мать Голендуха вытирала рот, складывала на животе руки.

– Нет, – продолжала она, – ты его побори сначала, зажми ему хвост, а потом смирение показывай... А то тра-та-та, тра-та-та, целый день: «Мать игуменья, дозволейте в лес добегать, сушняку при несть». Сушняку!.. Знаю, какой сушняк собираете. Сушняк-то у вас в

штанах ходит... Не видела я разве, как сестра Гликерья в ручье мужеские вретича полоскала...

Мать Голендуха открывала совершенно круглые глаза и, стуча костяшками по столу, ужасно шептала:

– Вот в старые времена задрали бы тебе ряску да на горячую плиту и посадили: грей проклятое место.

Душеспасительные беседы не занимали всех помыслов матери Голендухи. Хозяйство монастыря тревожило ее и беспокоило. Кроме вишневого сада, обитель владела еще тремя-десятью десятинами пустошей да Свиными Овражками – неизвестно кем и когда перекопанным местом, полным щебня и камней, откуда вытекал монастырский прохладный ключ.

Всего этого едва хватало для пропитания тридцати душ и благолепия церкви, а о приращении денег или покупке земли нечего было и думать.

Поэтому мать игуменья благословила одну из сестер, испытанную мать Нонну, идти собирать пожертвования на храм.

Мать Нонна шла по деревням и городам быстрой поступью, всегда веселая и говорливая, собирая с крестьян по копеечке, с купцов по рублю. Память у Нонны была чрезвычайная: не только имена живущих, но дедов и прадедов их помнила она по всей Руси. Придя в город, тотчас же справлялась на базаре, кто умер, кто родит, кто сына женит, и стучалась из дома в дом, хозяйшечке предлагала просфору, без малого фунтов в пять, присовокупляя подорожек словами – не в бровь, а прямо в глаз. На купцов и старосветских дворян действовало это чрезвычайно. Полная сума была у матери Нонны.

Попивая чаек, любила рассказывать Нонна приветливым своим голосом, каких видела людей, да где какие святые иконы проявились, да кто на ком женится... Чертей видела она три раза. Один – маленький, хворый – был к ней даже привычный, звала она его не христианским, конечно, именем, а собачьим – Полканка, – очень жалела.

Возвращалась мать Нонна обыкновенно к Рождеству и приносила немало денег, но иногда пропадала года по два, забредая за Окиян. Тогда мать Голендуха, для поддержания средств, объявляла монастырский ключ целебным и продавала в склянках – три копейки за штуку, пятак пара – дивную воду.

Но недавно Господь воистину сжалился над монастырем. Сестра Клитинья, после того как на святой объелась яйцами, стеная и призывая скорую смерть в избавление от колик, открылась на духу священнику, а потом отдельно матери игуменье, что помирает не от своего аппетита, а оттого, что хранит страшную тайну – старинный клад, зарытый на крови.

Мать Голендуха выпросила все подробно – как сусек выскребла – и, отобрав у Клитиньи какой-то документ, возликовала в своем сердце, ожидая для монастыря великих милостей.

Сначала мать Голендуха думала сама копать клад, но, рассчитав, что денег на это не хватит, да, пожалуй, и бес там замешан, послала монашенку к генеральше Степаниде Ивановне.

Степанида Ивановна ехала в монастырь на паре вороных, которых звали – Геркулес и Ахиллес. В древности они были, может быть, героями, но теперь, неспешно волоча покойную коляску, старались поставить кривые ноги куда помягче. И всегда, садясь на этих коней, генеральша говорила кучеру: «Смотри, держи, чтобы не разнесли». На что кучер отвечал беспечно: «Помилуйте, не впервой».

По дороге Степанида Ивановна обдумывала политичный разговор с игуменьей. Когда показались над зеленью синие главы церкви, белые ворота и коляска мягко зашуршала по песку въезда, генеральша беспокойно задвигалась на подушках, вынула из ридикюля английскую соль и поднесла к носу.

Мать игуменья встретила генеральшу на крыльце, приветливо кланяясь по уставу, Степанида Ивановна сложила зонт, кивком ответила на поклон и, подхватив лиловое шелковое, покрытое кружевной сеткой платье, вышла из коляски и поднялась на крыльцо.

– Благодетельница, – запела мать Голендуха, закрыв глаза, – все это вы порхаете, все порхаете, как птица-голубь, а я-то, грешная, все сырею, все толстею, – так и думаю: выйду в лихой день на крылечко, оступлюсь и расколуюсь, как дыня.

При этих словах щеки у матери Голендухи расплылись, действительно став похожими на спелую дыню, что лежит, прикрытая листом, на бахче.

Степанида Ивановна села на крылечке и, глядя на пышный, сбегаящий вниз вишенник, сказала со вздохом:

– Отдохнуть приехала в ваш рай земной. Устала от забот...

При этом она поглядела искоса на игуменью. Игуменья в свою очередь – также искоса – поглядела на генеральшу.

– И, какой у нас, благодетельница, рай, мы еще многих иных грешнее.

Обе женщины хитрили, и ни одна не начинала нужный разговор. С вишенника веял пахнувший смолой ветер, пролетали грузные пчелы, а невдалеке, должно быть – из кельи, слышалось монотонное пение духовного стиха. Умиротворилась, казалось, душа певуньи, не дивится более ничему и поет только потому, что по всей земле, в каждом листе, во всем, что живет и дышит, бьется вечный, однообразный шум живых ключей.

На крыльцо из дома вышла монашенка, принесла стол, накрыла его вышитой ширинкой и поставила расписные чашки. Другая монашенка принесла самовар и положила в трубу березовую ветку, чтобы дым отгонял мошек.

– Грешница, люблю чаек попить, – проговорила мать Голендуха, – но не такой это грех, как сумасшедшие капли. Вон у нас священник на Пасху наприкладывался сумасшедших капель, – водки то есть выпил, а пьет он, как насос, – и пошел служить молебен к доктору, а у доктора аптечный шкаф картинками обклеен разного веселого содержания. Поп-то повернулся к шкапу и давай кадилом махать. Доктор ему: «Батюшка, образ вон в том углу, а это непотребство; извините, что я его простыней не закрыл...» – «Это, – говорит поп, – мне все равно, я к этому отношусь неглижа». Видишь ты, до неглижа и довели его сумасшедшие капли.

Степанида Ивановна сделала губами звук «тсс...» Качнула кружевной косынкой и сказала:

– Варенье прекрасное у вас, мать игуменья. Из своей вишни варили?

– Из своей, для гостей держим хороших...

– А говорят, в этой местности клады всевозможные зарыты?

– Множество.

– Говорят, вы знаете один такой, интересно бы послушать.

От глаз игуменьи тотчас же побежали морщинки. Хитрейшие стали глазки. Грузно повернувшись на стуле, она сказала:

– Сестра Клитинья, подойди к нам.

Тотчас же к столу подошла в порыжевшей ватной рясе Клитинья. Сложив руки на груди, поклонилась, посмотрела на яства, уставлявшие стол, и, опустив желтое скуластое лицо, стала у притолоки.

В глухих деревнях рождаются такие большеголовые дети, которые едят и не могут наесться. Чувство голода передается им по наследству, как иным талант. Так и у Клитиньи было желтое лицо и большой рот, полный жадности.

Степанида Ивановна со страхом и отвращением оглядела монашенку. Игуменья, степенно сунув пальцы в пальцы, молвила:

– Расскажи нам, сестра, все, что знаешь.

Клитинья облизнула губы и тихим голосом стала рассказывать все, что знала изустно от отца и деда о предке своем Осипе Кабане.

«Был он, Осип Кабан, мальчишкой о двенадцати годках. Позвали его на гетманский двор ночью и повели с двенадцатью молодыми казаками рыть подвалы в горе. Туда же им пищу приносили. Рыли они три месяца, а когда кончили рыть, подарил им гетман красные шаровары, белые свитки и каждому шапку и сказал: «Идите за мной, слуги мои, возьмите сундуки кованые, поставьте их в те подвалы. Когда все сделаете по моему слову – награжу по-царски».

Понесли они кованые сундуки. Шесть их было насыпано серебром, три – красным золотом, три – жемчугом, а Осип Кабан нес корону золотую, весом пять фунтов с четвертью.

Позади всех шел гетман Мазепа и держал острую саблю.

Дошли они до самого дальнего подвала, поставили сундуки, замуравили дверь, и приказал гетман казакам стать на колени, вынул книгу и начал читать заклые слова. Потом взял Мазепа острую саблю и отрубил голову всем двенадцати казакам, а Осипу приказал завалить двери подвальные до самого входа и ставить приметы: *каменную голову, орла и четырехконечный крест*.

Послушался Осип и все выходы завалил, а сам думает: лежать ему здесь тринадцатому без головы. Стал он на колени и попросился перед смертью прочесть «Отче наш...» Когда Осип сказал «аминь», гетман взмахнул саблей, а рука у него заостенела, – не опустить... Понял злодей, что неправильно сотворил, и убежал из подземелья.

А Осип Кабан как преклонял на молитве колени, так и остался на всю жизнь колченогим, чтобы не забыть Божьего чуда. Аминь».

Клитинья кончила рассказ и опять стала глядеть на еду, а Степанида Ивановна все еще слушала, – на щеках у нее выступили пятна, глаза были сухи.

– К тому имеются у нас документы и план, – сказала игуменья строго. – Осип Кабан, помирая, план оставил.

Степанида Ивановна вздрогнула и положила руки на грудь, не в силах молвить слова. Мать Голендуха, вынув из-под рясы ветхие листки синеватой бумаги, продолжала:

– Вот план и надпись: «Сей план снимал Осип Кабан, Господней милостью остался жив и руку приложил». Вот описание плана и приметы, и вот опись, что есть в сундуках... Уйди, Клитинья, – окончила мать Голендуха и, прикрыв полной рукой ветхие листки, сделала сладчайшее лицо. – А лежат сии подвалы, благотельница Степанида Ивановна, на нашей монастырской земле, как раз в Свиных Овражках. Ни в одной лавре нет такого богатства, как у нас. Но мы не хотим земного, нет, не хотим, – гонимся за небесным: не земного ждем, а Небесного Жениха... – При этом у матери Голендухи глаза укатились под лоб, рот раздвинулся, показав единственный передний зуб, а все лицо изобразило наглядно, как они ожидают жениха.

– Так продайте же мне Свиные Овражки! – необдуманно воскликнула генеральша и от волнения поднялась со стула.

Но мать Голендуха печально покачала головой и ничего не сказала, но было ясно, что на продажу склонить ее возможно...

С этой мыслью и уехала Степанида Ивановна из монастыря. За экипажем поднялась легкая пыль, золотистая от низкого солнца. Геркулес и Ахиллес степенно бежали по дороге, вспоминая былую славу.

Степанида Ивановна места себе не могла найти в коляске, раскрывала и закрывала зонтик, сбросила с колен плед и, оглядываясь на монастырь, шептала:

– Корона там, его корона, сама судьба ведет меня. Ах, Алексей, если бы знал, как я вознесу тебя!

Степаниде Ивановне казалось, что если так внезапно и просто дается в руки огромное богатство, не может не осуществиться заветная цель. Необходимо было пока скрыть даже от мужа существование клада, чтобы не дошли слухи и правительство не потребовало львиной доли. Затем достать денег для раскопок и выкупить место у монастыря. Можно продать гнилопятский заповедник и всю рожь. Потом скорее сбывать с рук Софью – помеху в такое важное время.

Степанида Ивановна сжимала пальцами виски и так сильно, что разболелась голова. Вспомнив о Сонечке и желая отогнать волновавшие мысли, генеральша подумала:

«В сущности не такого бы ей нужно мужа, как этот ветрогон Смольков. Но сделано – не воротишь, а выходить замуж надо же когда-нибудь. Приеду, – приласкаю ее и бедного Алексея. Ах, глупый, глупый! Ведь все это для тебя, для твоего счастья».

Чуя дом, кони побежали под горку рысью. Околицу отворил пастух с котомкой на спине, снял шапку и долго смотрел на блестящий экипаж.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Сонечка сильно перетрусилась, когда горничная Люба таинственным шепотом позвала ее к генеральше.

Сбежав по деревянной винтовой лестнице, мимоходом взглянула Сонечка в зеркало и, увидев, что щеки бледны, похлопала их ладонями. В это время дверь кабинета приотворилась, и генерал, просунув одну голову, прошептал:

– Не робей, Сонюшка, бабушка добрая, ты только молчи да ручку поцелуй.

– Хорошо, – сказала Сонечка улыбаясь. – И потом к вам забегу, расскажу. – И пошла на цыпочках по коридору.

Генеральша сидела боком к туалету, играя веером. Когда вошла Сонечка, она улыбнулась, привлекла девушку, усадила на скамеечку у ног своих и потрепала по щеке.

– Зачем ты так туго закручиваешь косы? – сказала генеральша. – Их нужно плести совсем легко.

– Хорошо, – ответила Сонечка, робея. – Я больше не буду.

– Я на тебя не сержусь, глупая, сядь сюда, я покажу, как нужно убирать волосы.

Быстро распустив Сонечкины косы, упавшие до полу, Степанида Ивановна принялась черепашьим гребнем медленно их расчесывать.

– Вся сила женщины в волосах – в них заключено электричество, и, смотри, никогда не надевай на ночь шелковых чепцов. Когда твой муж ляжет подле тебя, распусти волосы, чтобы они касались его лица: тебя он может забыть, но запах твоих волос никогда. Никогда не души их духами, волосы должны пахнуть тобой.

– Бабушка, – прошептала Сонечка, пряча лицо в рукав генеральши, – я не собираюсь замуж.

Степанида Ивановна медленно засмеялась, расчесала, заплела Сонечке две косы, обвила их вокруг лба и перевязала синей лентой.

– Теперь ты красива, – проговорила генеральша, держа ладонями Сонечкину голову. – Посмотри на меня. Ах, дитя мое! Ты женщина, тебя ждет все та же участь.

Она отошла от туалета и, шурша лиловым платьем, прилегла на диван у окна. Становилось сумеречно.

– Тебе нужно замуж, – сказала вдруг генеральша иным, таинственным голосом. – Ты совсем поспела, как плод.

Сонечка молча наклонила голову, Степанида Ивановна раскрыла и закрыла кружевной веер.

– Я нашла тебе подходящего мужа, он красив. Хорошо иметь красивого мужа. Но нужно иметь каменное сердце...

Вспомнив, должно быть, старое, генеральша вытянулась на диване. Шелк ее платья засвистел под ногами. Сонечка знала, что нужно сказать во всяком случае что-нибудь, но не могла пошевелиться. За окном тормозились воробьи перед сном. Попугай нежным голосом назвал себя по имени. Генеральша сказала:

– Мне писали из Рима, – святой отец занемог. Что?

– Я не знаю, – растерянно пробормотала Сонечка.

– Такое горе для христианского мира. Что?

– Да, бабушка...

– Это возвышенно – думать о Боге, мы все его дети... – И генеральша начала болтать деревянным голосом чепуху. Это была ее манера – светский, по ее мнению, тон, который генерал терпеть не мог и называл – «лущить горох».

Но Сонечка не знала еще этой особенности за генеральшей и была изумлена, сбита с толку и отвечала невпопад.

В сумерках маленькая генеральша казалась восковой, с нарумяненными щеками, левой рукой она покачивала раскрытый веер, притворно улыбалась...

— Когда Апраксину дали ленту через плечо, он сказал моему мужу: «Помилуйте, генерал, я не заслужил ее, право, не заслужил»; он был очень мил в эту минуту.

«Почему лента? — думала Сонечка. — Почему болен римский папа? Почему молодой муж и каменное сердце?.. Должно быть, я действительно глупа».

— Что же ты молчишь, ты глуха? — опять иным голосом спросила генеральша.

— Нет, бабушка.

— Ты не ответила — хочешь ли замуж?

— Я постараюсь...

— Что постараюсь?..

— Я не знаю...

— Хорошо, ступай к себе. Я все решу за тебя. Я не зла тебе хочу, но счастья.

Притворив дверь спальни, Сонечка перекрестилась — слава Богу, обошлось! — и пошла к Алексею Алексеевичу в кабинет.

Алексей Алексеевич лежал на турецком диване, держа у рта длинную трубку. Над диваном, на ковре, было в порядке развешено всевозможное оружие — кольчуги, щиты, копья, ружья, сабли, пистолеты. На окне спущена парусиновая штора.

Сонечка вошла и улыбнулась. Генерал, подняв трубку, сказал:

— А я сейчас думал... Садись-ка рядом... А я сейчас думал и решил: наша русская сабля имеет преимущество против турецкого ятагана, вон видишь того — кривого.

Сонечка, аккуратно сложив руки на коленях, подняла на Алексея Алексеевича синие рассеянные глаза.

— У ятагана есть достоинства — он сам режет, саблю же надо тянуть при ударе к себе. Но зато я могу колоть, а ятаганом не уколешь.

Генерал встал с дивана и показал выпад и защиту тем и другим оружием.

— Поняла? Об этом-то я, мой друг, хочу написать статейку.

Он сел опять, вытер лоб и, взяв Сонечкины руки в большие свои ладони, спросил ласково:

— Помирились с бабушкой?

— Помирились, — ответила Сонечка кротко. Генерал покрутил ус, ему хотелось до конца высказаться.

— Вот пример: еду я близ крепостной стены, и насккивает на меня преогромный турок с кривым ятаганом. Я выстрелил, промахнулся. Он меня — ятаганом, я его — саблей; он — рубить, я — колоть. Что же думаешь — лошадь моя Султанка выручила, ухватила турка зубами за ногу, завизжал он, я в это время и проткнул его в живот.

— Вот ужас! — Сонечка вздрогнула. — Вам не было страшно?

— Страшно не было, но потом все чудилось, что я разрезал лимон.

Алексей Алексеевич, удовлетворенный, что исчерпал вопрос о саблях, похлопал Сонечкины руки.

— Ну, а теперь расскажи, как вы с бабушкой порешили. Сватала она тебя?

Глаза Сонечки испуганно раскрылись.

— Вы серьезно, дедушка? Но я не знаю, мне не хочется замуж.

Алексей Алексеевич привлек к себе ее светловолосую голову и говорил, поглаживая:

— Ты права, деточка, для тебя это очень серьезный шаг. И в этом и во всех движениях ты похожа на покойную Верочку. Бывало, она так же... Вспоминаешь и думаешь, — было

нам хорошо. Мы нежно и свято любили. А знаешь, как венчались?.. В деревенской церкви зимой. Все окна завалило снегом, и церковка дрожала, – такая разыгралась пурга. Потом у Ильи Леонтьевича, твоего отца, был пир, а вечером нас отправили на санках ко мне в имение. Верочкин сват, Степан Налымов – тучный был старик, – стал, по обычаю, на запятки и провожал нас все сорок верст в расстегнутой шубе, без шапки.

Алексей Алексеевич долго еще улыбался в густые усы, потом глаза его заволокло влагой.

– Тогда казалось – конца-края не хватит счастью, – ожидалось замечательное что-то в жизни. А жизнь прошла, и ничего замечательного не случилось. Так-то. Ходишь и думаешь: зачем вот ходишь. Книгу возьмешь – ну что, думаешь, я в ней прочту нового, – все равно помирать надо.

– Что вы, дедушка! – воскликнула Сонечка жалобно. – В какой вы меланхолии.

– В меланхолии, в меланхолии, – ты права. Делом мне надо заняться. Вот скоро поеду рожь продавать в город. Так нет же, Сонюрка, попляшу я на твоей свадьбе. Меланхолия у меня от сумерек. А мы ее побоку. Слушай, что бабушка-то придумала!

И он рассказал про план Степаниды Ивановны и про письмо.

– Понравится тебе Смольков – бери его в мужья, а не понравится – другого сыщем...

Сонечка ничего не сказала, только руки ее похолодели. Она представила Смолькова своим всегдашним героем...

В дверь осторожно стукнули, вошел Афанасий и, доложив, что подан ужин, зажег на письменном столе четыре свечи, соединенные вместе зеленым колпачком.

Ужин благодаря теплоте времени был накрыт на каменной террасе. Степанида Ивановна уже сидела на длинном конце стола, жеманно облокотясь на кресло.

Два канделябра тихо оплывали от легкого дуновения ночи, и множество бабочек и жучков кружилось у света, падало на белую скатерть.

Генерал тотчас же, как только сел на свое место, засунул салфетку за воротник кителя и стал есть, весело поглядывая. В подливку упал жук, Алексей Алексеевич выловил его на край тарелки.

– Солдаты говорят: в походе и жук – мясо. А ты, Степанида Ивановна, ничего не ешь?

Генеральша действительно к еде не притрагивалась. Таинственная улыбка морщила тонкие ее губы.

– Если бы ты знал, что я знаю, то и ты бы тоже не ел, – проговорила она медленно и, поставив локоть на стол, затенила ладонью лицо от света...

– Что же такое случилось?

– Алексей, мы скоро будем иметь царское богатство...

Генерал выронил вилку, открыл рот. Афанасий, поставив в это время блюдо с картофелем, отошел к двери, внимательно слушая.

– Откуда же? – спросил, наконец, Алексей Алексеевич. – Откуда же? Разве кто-нибудь умер?

– Нет, Алексей, никто не умирал. Но я нашла клад гетмана Мазепы.

Генерал сейчас же опустил в тарелку длинные усы, старался скрыть ими улыбку. Но Степанида Ивановна все-таки заметила улыбочку, сверкнула глазами и вопреки данному себе слову рассказала о кладе все, что слышала и видела в монастыре...

– Ты понимаешь теперь, Алексей, – я должна купить Свиные Овражки.

– Но это безумие, – воскликнул генерал, – покупать никому не нужные Овражки!

– Это безумие так отвечать! – крикнула генеральша.

– Что? – спросил генерал, начиная хмуриться, но Сонечка взглянула на него умоляюще, и он поспешил прибавить: – Я понимаю, – ты пошутила, не будем ссориться...

– Я ничуть не шучу, – генеральша стукнула кулачком, – я должна иметь через две недели деньги для покупки. Ах, я знаю, – ты хочешь сделать меня нищей. Мало всех огорчений, которые ты мне доставил, ты вырываешь последнюю надежду.

Генерал качал пыхтеть, надуваться; быть бы ссоре, но Афанасий, почтительно наклонясь над Степанидой Ивановной, выждал многоточие в разговоре и сказал:

– Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, все верно, как вы изволите говорить...

– Что, как ты смеешь! – закричал генерал. – Пошел вон!..

– Оставь его, Алексей. Продолжай, Афанасий...

– Когда я еще, ваше превосходительство, мальчишкой в здешних местах бегал, находили мы на Свиных Овражках монеты. Изволите посмотреть.

Афанасий вынул из жилетного кармана старинный польский злотый и подал генеральше.

– Вот видишь, я всегда права! – воскликнула Степанида Ивановна. – Посмотри – тысяча семьсот третьего года. Спасибо, Афанасий.

Генерал сказал:

– Да, старинная. Странно!

Степанида Ивановна, воспользовавшись поворотом обстоятельств, начала мелко щебетать – «залушила горох». Передернула плечиками. «Ах, здесь сыро, на этом балконе!» И выпорхнула в дверь, поддерживаемая Афанасием под руку. Когда они ушли, генерал выпустил воздух из надутых щек: «Ерунда!» – и швырнул монету в сад.

Затем сунул руки в карманы тужурки и зашагал по веранде. Сонечка, сидя за самоваром, вглядывалась в свое изображение на изогнутой меди: подняла голову – и лоб ее вырос, сверху приставилась вторая голова; опустила – щеки раздались вширь, лицо сплющилось.

– Никакого клада нет, одна, черт знает, глупость! – закричал Алексей Алексеевич, вдруг остановившись. – А денег уйдет – фить! А попробуй я не дать денег – все перевернет, как Мамай!

Чертыхнувшись, генерал лягнул стул и ушел попытаться разговорить Степаниду Ивановну, пока она еще не окрепла в своем решении.

Сонечка долго сидела одна, глядя на зелененьких мошек, бабочек на скатерти, на карамору, повредившего ногу. Вздохнула, задула один из канделябров и вышла в темный сад.

В ее голове никак не укладывались разговоры и впечатления сегодняшнего дня, поэтому она и вздохнула, отгоняя не доступные ее разумению мысли. Ни звука не слышалось в липовой аллее, ни шелеста, только – шорох шагов по песку. Сквозь черную листву просвечивали звезды на безлунном небе. От запруженной реки Гнилопята стлался по траве еле видный туман...

«Вот идет, – думала Сонечка, – девушка в темноте; на ней белое платье; в саду таинственно и тихо; у девушки опущены руки, и никого нет кругом; она одинока. Где же ее друг? Он не слышит! Вот скамейка. Девушка в белом садится и сжимает хрупкие пальцы. Ах, как пахнет резедой!»

Сонечка действительно села; смахнув с лица и с шеи прильнувшую паутину...

«Ночной холодок пробегает по спине; девушка в заброшенном саду. Она не слышит, что *он* уже близко; *он* в шляпе, надвинутой на глаза. *Его* шаги близко... В самом деле, кто-то идет!» – испугалась Сонечка и прислушалась: от пруда по аллее кто-то шел, мягко ступая на всю ногу.

Шаги приближались. Испуганнее билось Сонечкино сердце, но в темноте нельзя было рассмотреть идущего.

Не убежать ли? Она повернулась. Под ногой хрустнула ветка. Тот, кто шел, спросил, остановясь:

- Во имя Господа Иисуса Христа дозвоьте женщине бесприютной ночь провести.
- Пожалуйста, – отвечала Сонечка, успокаиваясь. – Вы кто такая?
- А Павлина, – как будто изумясь, что ее не знают, ответила женщина и подошла ближе.
- Вы на богомолье идете?
- Павлина ответила не сразу, – протянула усталым, равнодушным голосом;
- Куда нам Богу молиться, не сподобилась. Брожу все. А вы кто будете, – барышня?
- Барышня...
- Степаниде Ивановне внучка?
- Вы пойдите на кухню, вас покормят...
- Пойду, пойду. Спаси вас Господь...

Но Павлина не двигалась. В просвет между ветвями стала видна ее обмотанная шалью огромная голова.

Сонечке было неловко сидеть молча, она встала, но Павлина вдруг подняла руку и кликушечьим высоким голосом заговорила нараспев:

– Чую дому сему великий достаток и веселье. Понаедут человеки, будут вино пить, песни петь, плясать, а одна голубка слезы прольет, да вспомняется слово мое, аминь...

Сказав «аминь», поклонилась Павлина поясным поклоном и молча пропала в темноте; хрустнули кусты, затихли мягкие шаги.

Так в доме Степаниды Ивановны появился новый человек, решительно повлиявший на судьбу дальнейших событий.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Николай Николаевич Смольков лежал в смятой постели и долго старался сообразить, что было вчера.

Вчера было очень похоже на позавчера, а позавчера на третьего дня, но случилось какая-то, помимо обычного, неприятность, и Николай Николаевич застонал, чувствуя ломоту и тошноту, – во всем теле бродило еще шампанское, а во рту будто ночевал эскадрон.

В комнате от спущенных штор было темно, и только ночник, вделанный внутрь розовой раковины, слабо освещал край столика, окурки и увядшую розу в стакане.

«Вспомнить бы по порядку, – думал Николай Николаевич. – Встал я, надел коричневый костюм и этот галстук с горошком, поехал завтракать, нет, – сначала поехал к парикмахеру, потом завтракать, потом в манеж, нет, потом с визитом... Как же я в пиджаке с визитом поехал?... Ах, да, к княгине... Вот что!..»

В волнении он приподнялся на локте, но винные пары опять ударили в голову, прервав последовательность мыслей. Уткнувшись в подушку, пролежал он довольно долго, потом позвал слабым голосом (до звонка трудно было дотянуть руку):

– Тит!

Никто не ответил... Николай Николаевич, пошарив, нашел портсигар, спички и закурил. Табачный дым еще пуще затуманил мысли, но потом все-таки прояснилось, и Николай Николаевич вспомнил о княгине, вспомнил все: как вчера, после годовой разлуки, встретил Муньку Варвара, как она обрадовалась, а он хотел удрать, но это не удалось, – не удрал. Как они обедали, потом катались, потом в «Самарканде» ужинали с цыганами; как пришли какие-то офицеры с пьяным англичанином, кричавшим почему-то «батюшки, матушки»; как на столе лежали Мунькины толстые ноги и так далее, и так далее... Цыгане, шампанское, Мунькины духи... Даже сейчас ими пахли руки... Но скверное случилось после, когда в два часа возвращались на автомобиле: на углу Кирочной поравнялась с ними карета, из окна выглянула сама княгиня Лиза и устроила такую гримасу, что... фу!.. фу!..

Николай Николаевич вытер мокрый лоб, привстал и крикнул:

– Тит, осел!

Вошел мрачный мальчик-грум, по имени Тит, отдернул, звеня кольцами, штору, и дневной свет залил небольшую низкую комнату, кровать из карельской березы и желтое, длинное, измятое лицо Николая Николаевича с коротко подстриженными усиками.

Николай Николаевич зажмурил глаза от боли. Тит захватил платье, ушел и вернулся, держа в руках поднос со стаканом крепкого кофе и яйцом в серебряной рюмке.

– Вчера я очень напился, Тит?

– Обыкновенно, – отвечал Тит, глядя в сторону.

– Все-таки сильнее, чем всегда?

– Пожалуй, сильнее.

– Знаешь, Тит, сколько вчера я выпил? – И Николай Николаевич принялся мечтательно перечислять сорта и марки выпитых им вчера вин.

– Вставать надо, – перебил Тит. – Французик сейчас придет.

– Сколько раз я запрещал тебе называть его французиком.

– Ладно уж...

– Дурак!.. Тит помолчал.

– Рубль тридцать копеек всего осталось вашего капитала, – сказал он, – больше нет! – И, наконец, посмотрел на барина. – Так-то.

Николай Николаевич поморщился. Действительно, денег больше не было, и трудно было, как всегда, доставать... Придется у Лизы просить или у дяди... Бросив окурки на

поднос, Николай Николаевич выпил кофе, потянулся и лениво спустил на коврик худые, в рыжих волосах, ноги.

– Тит, одень.

Тит надел барину гимнастическое трико на все тело, затянул живот ремнем и, поправляя кровать, сказал:

– Сегодня эта поутру приходила, толстогубая-то ваша, прошлогодняя.

– Ну! – воскликнул Николай Николаевич, с испугу садясь опять. – Что же ты?

– Ну, не пустил. Только она грозила обязательно еще прийти. Я, говорит, все у него в квартире перекрошу.

Смольков долго молчал, потом сказал уныло:

– Она так и сделает... Эх, Тит!

– Портной прибежал, я прогнал! Да еще этот вертлявый насчет векселя...

В прихожей позвонили. Тит пошел отпирать.

Плохо начинался сегодняшней день. Но между всеми неприятностями главная была та, что вчера ночью Николая Николаевича с публичной женщиной встретила княгиня Лиза.

Княгиня Лиза – троюродная Николаю Николаевичу тетка – являлась главной его опорой в жизни. В министерстве иностранных дел жалованье было ничтожное. Жизненные средства главным образом он добывал, переписывая векселя и посредством букиниста, которому продавал отцовскую библиотеку – диванами, по сорока рублей за диван, то есть накладывая на кожаный диванчик фолиантов сколько туда влезет. Но основой все-таки была княгиня Лиза.

Года два тому назад Николай Николаевич увлекся ею и зашел в изъяснении чувств так далеко, что княгине пришлось заняться спиритизмом, чтобы в потусторонних откровениях найти оправдание преступной любви.

Тогда завязалась у нее со Степанидой Ивановной – в то время яркой спириткой – переписка, в которой княгиня не открыла ни имени Смолькова, ни даже земного его происхождения, но уверяла, что смущает ее некто, имя которому Эдип...

Имя это Степаниде Ивановне показалось странным, и она проверила его спиритическим сеансом два раза. Один раз вышло действительно Эдип, другой же – Един. Степанида Ивановна ответила княгине письмом, в котором просила Лизу остерегаться, так как Един и Эдип – не есть ли одно из имен Люцифера?

Странно было это имя и для Николая Николаевича, забывшего давно лицейский курс мифологии, но во время свиданий он все же стал называть себя Дипой, так же и подписывался в любовных записочках.

Ревновала княгиня Лиза своего любовника ужасно: не только не позволяла думать ни о ком, кроме себя, но, когда Николай Николаевич рассказывал о скачках или других невинных развлечениях, страшно сердилась, прося замолчать. Выходило, что у него – Смолькова – ни тела, ни телесных желаний нет, одна душа, и то не его.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.